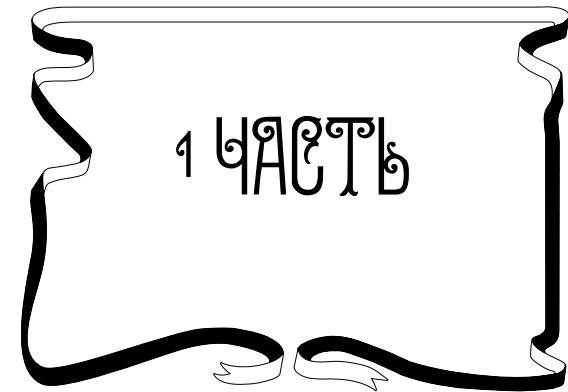


МАРИЯ ВАТУТИНА

ДЕВОЧКА НАША



Мария Ватутина — поэт, эссеист. Ученица Игоря Волгина, постоянный автор журналов «Новый мир», «Октябрь» и других. В третьей поэтической книге «Девочка наша» представлены стихотворения последних лет, наибольшая часть из них написана прозой. В этих текстах, насыщенных повествованием, рифма и регулярный размер являются лишь атавизмом поэзии, позволяющим использовать в прозе замечательные поэтические приемы. Итак, перед вами прозаические тексты в одеждах поэзии и с поэтическим характером.



Всем! Всем! Всем!

Девочка наша стала ходить в бассейн!

— Растрясись, толстожолая, растрясись, — разрешила мать.

И давай ее собирать.

Положила ей полотенчко, приговаривая: «Ничего!

Я тебя еще младенчиком заворачивала в него».

Положила вьетнамки, подстилку и мыло, шапку, купальник свой.

Говорит: «Чтоб совсем не стала debilкою,

не ходи с сырой головой».

И пошла наша девочка да вразвалочку,

с сумкой толстою на ремне.

И пришла она в раздевалочку, и сидит себе в тишине.

Вдруг заходят четыре девочки, словно ангелы во плоти.

Наша смотрит во все гляделочки, хочет даже уйти:

— Дал же бог очертания, — думает, —

разве снимешь при них белье?!

У меня трусы «до свидания, молодость» и грудь

отродясь не стояла, горе мое.

А те всплескивают космами, руками взмахивают,

прыгают на одной ноге.

А у девочки нашей весь баул в чесноке.

— Возись потом с тобой, — говорила мать, — принесешь заразу,

а то и грипп.

А чеснок отбивает.

Она поветривала по дороге, но дух прилип.



О, как же они прекрасны, нагие, не видящие ее в упор.

Она снимает колготки, не снимая юбки, потом головной убор,

Влезает в купальник по пояс, потом снимает юбку,
потом сквозь рукава

Вытягивает лифчик. Поднимает купальник на грудь,
снимает кофточку. Какова!

Через час они одеваются, возвратившись из душевой.

Ага! Говорила мама: не ходи с сырой головой.

Вот сидит наша девочка под сушилкой, смотрит,

как, брызгаясь и блажа,

Эти грации с голубыми жилками достают средства

девичьего вийзажА,

Говорят слова прекрасные: Буржуа, Сен-Лоран, Клема...

Она уходит сразу в свою комнату. Мать приходит сама.

Что, поплавала? Что угрюмая? Что назавтра задали?

Что молчишь?

А она, наша девочка, сидит, как мышь.

Смотрит точками, плачет строчками, запятыми молчит.

А потом говорит.

Вот ты мама, мама, где твои штучки женские, ручки бархатные,

аромат на висок,

Ножки бритые, ногти крашены, губы в блеске, каблучки цок-цок.

Из-за этого твоего невежества, из-за этого мужества,

из-за всей твоей изнутри

И я вот такая неженственная, не отличу Пани Валевску

от Красной Зари.

Не умела сказать наша девочка, что в условиях нелюбви

Человек сам себя не любит, и любить-то бывает нечего —

не завезли.

Не возлелеяли, не согрели, не счистили скорлупу до белка,

до любви.

Девочка, ты наша девочка, нелюбимая наша девочка,

плыви, плыви.

ОН ВЫЗВАЛ МЕНЯ ПОВИДАТЬСЯ

Он вызвал меня повидаться // в дурное кафе на углу. // Чего с ним о прошлом бодаться, я скоро отсюда умру, а он путешествует много, не в силах порою понять: с какого ударного слога ему на себя же пенять. Приедет, а нету сексота...

— Ну, что там? Ну, как тут? Ну, жги.

Мы выбрали столик у грота. Бездонье пускало круги. Подсветка горела ледово, и я рассказала ему:

— Ничто в этом мире не ново.

— Вот этого и не пойму.

Збухала поверхность колодца, и пенилась кромка у скал.

— Подробней давай, мне сдается, я зря вам прогулы спускал.

Мы снова разлили спиртное.

— В Америке осень. В Москве опять чудодейства. В Ханое поставили памятник мне. Суматру потрянуло по новой. Грузины играют в игру. О Господи, мне, бестолковой, скажи, я ведь вся не умру?

— Вопрос, — говорит, — не по теме, давай, — говорит, — без мудей. Корыстных при нашей системе не держат, живем для людей.

Забулькало что-то, как гроздь воздушных шаров под водой.

— Отродья, — ругался, — отродья, уеду, клянусь бородой.

— У нашей спортивной державы, — позвольте я вас перебую, — назначены выборы. Право, о, как я отчизну люблю.

Он камешек величиною с кулак подтолкнул к полынье. И булькнуло.

— С вашей страной уже разбираться не мне...

Мы долго молчали. Из пенки на свежевзмутненной воде запели свирели и пенки. Он вдруг встрепенулся:

— А где?...

Назвал имена проливные. А я отвечаю, мол, вам видней. Но уже отходные отпели по их головам.

С любовью в раскашленном горле, с вопросами, что в ДНК, я вдруг испугалась: на что мне космический этот ЧК, когда и при нём тихой сапой стремимся на дно под скалой: с шаманами, ламой и папой, попами, раввином, муллоу...

ДВА ЗЕРКАЛА

... Два зеркала она ему дала...

А. Цветков

Когда снесли муниципальный дом, им дали две квартиры на площадке. Налево внучке — девушке с веслом, направо — бабке, старой ретроградке. Настало перемирие меж них. Они друг к другу заходили в гости. Нарисовался временный жених. Но кто на ней..., но кто ее... ай, бросьте!...

Два зеркала дала им, два мирка жилищная комиссия — ЖК.

И в правом этом зеркале старинном был тусклый свет, и корвалол лился, и приживалка-смерть в быту рутинном ленилась, вахту памяти неся. Пылится пол, крошился хлеб под ноги, и поутру, очнувшись ото сна, старуха долго складывала слоги: «про-», «сну-», «лась», «вро-», «де», «вот», «те-», «бе», «и», «на».

А эта, чья в углу сенокосилка, ночами приходила к ней в кровать, и что-то наподобие обмылка совала в пах: пора с тобой кончать, пора тебе захлопнуть дыры, бабка, заткнуться, подавиться языком... И долго от смертельного припадка старуха отходила..., но молчком. Теперь она боялась только ночи, просила внучку «посиди со мной». Та отвечала «я не тамагочи», и выдыхала слезы, встав спиной.

Ей в зеркале всё становилось ясным, а молодости знание не впрок, не надо ей показывать, как красным заплыл гипертонический белок, что невозможно перебраться в ванну, что голова с душой наперевес, что смерть — маньячка, действует по плану. А если раззадорить, то и — без.

В том зеркале, которое налево, где девушка бывает не одна, где скоро корни пустит чье-то дерево, и жизнью от мореного бревна потянет так, что выбегут соседи, в том зеркале, в той ртути, что на треть расплескана, опять родятся дети, умея как-то смерть перетерпеть, они родятся, вырастут, по факту возьмут переходящее весло, а девушка в ту, с тусклым светом хату перенесет себя и барахло. И в том ретроспективном коридоре, где друг пред другом встали зеркала, пока идет, она умрет от боли, и будет дальше жить, как умерла.

КИНО

Был первый дубль. Он не вошел в кино, но честно отработали актеры.

Она ходила к доктору, дано ей было заключение, что скоро она погибнет, то есть доктора такого не напишут вам, конечно, но формула была ясна. Игра актеров раскрутилась здесь успешно, особенно вошла актриса в раж, играющая ту, которой дали дней пять на сборы, а потом — «шабаш». На пятый в Остроумовку забрали, назначив операцию. Но до смещения съемок в корпус «Хирургии», снимали этот дубль: семья и дом.

Шел третий день. Повыв на литургии, она вернулась и легла в кровать. Сказала:

— Терапевт велел побриться. Анестезия — лак с ногтей убрать.

Актрисе удалось и прослезиться, потом она зашлась, зашлась, зашлась... Она кричала:

— Ты меня сгубила, и на могиле будешь, веселясь, плясать и петь.

— Но ты всегда любила сама — плясать и петь, — шутила дочь.

— Я всех вас ненавижу, — мать твердила, — и проклиная...

На ковер, точь-в-точь Быстрицкая, свой взгляд переводила. Но вновь взрывалась:

— Все черно внутри!

Она вставала, словно что-то ищет, бросалась с кулаками... До зари ее терзал ее смертельный прыщик. Потом она уснула тяжело. (Надеюсь, узнаешь себя, Россия?) Дочь выплакалась в ванной...

... Пронесло.

Чуть позже показала биопсия: болезнь ее смертельной не была. Под дверью послеоперационной блуждала дочь, молилась, чтоб жила, над временно бессмертной мамкой сонной, еще не зная, что бессмертье есть.

И кошки расцарапывали сердце: сценарий нужно было весь прочесть, потом давать согласие. Отвертеться она вчера от сцены не могла (снимали эту белую горячку), короче, пена белая пошла у матери. Зубами стиснув жвачку, дочь залепила оплеуху ей! Мать заскулила, ей воды подали...

Никто еще не знал — бессмертье есть.

Но этот страшный дубль забраковали.



МНЕ СНИЛОСЬ, ЧТО ПАПА НЕ УМЕР

Мне снилось, что папа не умер, что он в СПб живет с молодой женой, но всегда на работе. Когда я приехала, дождь колотил по трубе, и бледная женщина в полуистлевшем капоте за мною ходила по тесной квартире своей и всё извинялась, и всё извинялась за то, что отец не идет, что стемнело, что бросил детей, что ехать пора, и сегодня его не дождешься. Автобус катился по улице длинной, как сон, я видела улицу эту и раньше, казалось. Как будто налили чернила на мокрый картон, дорога плыла и в финале совсем расплывалась. Такая картина висела в его мастерской (теперь Александров, приятель его, процветает и тоже женился по новой). На улице той всё, как у живых, только времени там не хватает. И, если захочешь увидеться и посидеть в чаду коммунальном с Нелюбиным что ли Сережей, поди разыщи его! И коммуналку на треть распродали, и у отца распорядок не божий на службе. Картина цела — полстены над тахтой. Без рамы она, ибо не был богат Александров в ту пору, когда он впервые на улице той пейзаж рисовал, уходящий на несколько ярдов в грядущее. В этом грядущем ни тени живой, ни света тебе, ни мазка, превращенного в тело — ну, вроде отец из присутствия чешет домой, и я его жду-дожидаюсь: глаза проглядела.

ВОТ ЧЕЛОВЕК ПЛЫВЕТ ЧЕРЕЗ ОКУ

Вот человек плывет через Оку. Еще темно: и ночь, и на веку его просвета не было, короче, ничье поместье не ушло от ночи, и не пыталось, в сущности, уйти. Вот только он сюда часам к пяти утра приходит еженощно, чтобы нырнуть обратно в нежный свет утробы.

Река вздыхает длинно, словно монстр, неподалеку в ней темнеет мост.

Расшатанная нервная волна накатывает с лунного согласия на человека, на побережье, на страну, почти не видимую, к счастью. Ему не страшно, он себе плывет. Вот мост неподалеку, дурачина! Плывет, как плыл. Не слушает, живет, как жил. И мост для счастья не причина. И счастье, в общем, не идея-фикс, коль за мостом Ока впадает в Стикс.

И многие с той стороны моста бросались в воду, ибо жизнь пуста, другие ходят с берега на берег, от счастья к счастью, не открыв Америк, притупив нюх, совокупляясь всласть, но и у этих жизнь не удалась.

Вот над рекой установился пар. Не слышен всплеск, пловец опасно стар и мог погибнуть, как герой на водах. Но мы пришли присутствовать при родах и с места не сойдем, пока на брег не выйдет неизвестный человек. Он возвратится. Вот его собака, глядит особым зреньем, как из мрака плывет, плывет, не выплывет никак сизиф воды, и вместо камня — мрак.

Темно еще все сущее, ей-богу. От сотворенья и по наши дни — темны и толпы нас, идущих в ногу, и прячущиеся от нас в тени. Вот человек выходит к нам на травку. И он пойдет с рассветом в переплавку. И будут починять назавтра мост над волнами, идущими внахлест.

ОН НАЧАЛ ПЕРВЫМ РАЗГОВОР

Когда качнулся поезд, и забор поплыл в окне, и кончилась проверка, сосед мой начал первым разговор, а третий парень молча слушал с верха.

Он так сказал:

— Хотите бутерброд? Вот было дело, — и пошел-поехал, я, дескать, знаю в этом толк, да вот давно я в контрах с этим адским цехом.

На мясника и вправду был похож subtilный тип, ошпаренная кожа, наверно, алкоголик, ну, так что ж, вино нам друг, а истина дороже, я говорю нарочно:

— Что за цех?

Он так сказал:

— Да там, на трех вокзалах. Удобно добираться на ночлег под тяжестью окорочков немалых и прочей вырезки. Я, знаете, мясник. Был мясником, — поправился, — покамест не случай тот.

И он на миг поник и руки на груди сложил крест-накрест.

— Как жили в наше время мясники, наверно, ты не помнишь, молодая...— Он надрожал себе Ессентуки и залпом выпил, — эта сучья стая жила на всем готовом, оттого гнобила всех за сытный харч и чарку.

И он сказал мне вот что. Сын его однажды приволок ему овчарку. Тем временем разрушилась страна, ушла жена, и мать ушла, и дети уехали, как всё уходит на вот этой перевалочной планете.

Она была кобель. Брала рекорд по лаю в состязанье междворовом. Он ей кидал грудинку «высший сорт», а та рвалась с цепи ко всем коровам и людям, проходившим мимо них.

«Сожрут ее», — предупреждала сватья, когда в деревню новый слух проник, что жрут собак от голода собратья.

Он ездил на работу и кормил теперь воров и прочих бюрократов, и лишь один кобель ему был мил, откормленный курятиной из Штатов.

Был дивный вечер, осенью дыша, он вышел к покосившейся калитке, когда он не услышал ни шиша, и обмер, и душа его на нитке висела, он и в будку заглянул и кликнул бойко, но никто на свете не отозвался, и мужик струхнул, подумав, что собаки — те же дети, и как же можно, и за что же так...

Прибил крючок в каморке к перекрытью... Ну, словом выпил, сделал было шаг, но въехал в пол благодаря подпITYю. Вот так он и остался жить тогда. А по зиме на горке раскопали премного псиных косточек, и да — овчарку опознали по медали.

Он так сказал:

— Народ у нас чумной. Они на головах носили шапки из этой собачатины. Весной сидели мы со сватьею на лавке, она и говорит мне: «Сам дурак, сам раскормил ее до беспредела диковинными блюдами. Как флаг атласный, шерсть на солнышке блестела!»

Попутчик мой ладонь в глазницы вмял, тут поезд дернулся, и сон того нарушил, кто третий там на верхней полке спал и ничего про прошлое не слушал.

ОН БЫЛ ПОЧТИ ЧТО ВОЛК

Он был почти что волк, почти морской. Он жил со мной и с ней в одной квартире, и мы мирились с этим, не о мире шел разговор, но о любви мирской.

Чета имела сыновей. Она была моя ровесница, но что-то состарило ее. Моя забота была отдать себя ему сполна. Она не возражала, он — мудрец, он голову забил ей суррогатом восточных баек, в облике рогатом она была тишайшей из овец. Ты помнишь, кто Ты там, как Ты нас свел? Испорченная под Твоим призором не осознавшим дара дыроколом, впредь к ляжкам прижимавшая подол, убогая, когда не по любви, увечная, когда не полюбовно, неровно отступавшая, но словно манящая на запахи свои, я забрала матерого в силки. И прилепилась, как бы встарь сказали...

Страна жила, как тетка на вокзале: билет в кармане, тощи узелки, да вот состав не подают никак. И мы летали в истовом ознобе! Вынашивала третьего в утробе законная и плакала в кулак. Кедровником пропахшая, волной соленой, черным воздухом читинским, я возвращалась в дом ее со свинским клеймом счастливой бабы запасной.

Я двадцать лет не вспоминала их. Они исчезли всей семьей дружно, когда он научил меня всему, что должны уметь в когорте запасных.



ТЕТЯ НАДЯ

1.

— Ну, вот и всё..., — промолвил Игорек и умер за столом, в саду под вишней.

С Украины привез его сынок, похоронил, всплакнув, в земле столичной, но прежде сжег от головы до ног, хотя и там был вариант отличный: у матери в соседнем городке служила в крематории подруга.

«Игарь» звала жена его. В тоске по рюмке умер он, поскольку плуга не брал в подпитье — только налегке. Вот легкости и не снесла подруга. Она звалась Надежда. Из сельчан украинских. Она захмутила Игарика в Москве. Он был не пьян до самой свадьбы... Как она рыдала, найдя к поминкам самогонки жбан и в тряпочку завернутое сало.

Со всей ненужной вору требухой стояла зиму родовая хатка. Он перестал ей сниться и бухой, и трезвый, а крестьянская повадка гнала ее с апреля за сохой при том, что щитовидка вдрызг и матка.

2.

И вот она за правильным столом (известным нам по предыдущей главе) сидит в саду, и на душе облом, и не смекнула взять поллитру в лавке, но цель ясна — ползущей напролом не дать подняться огородной травке.

Прополка! Выкорчевыванье! Грунт весь в многоликих тощих осьминогах. Надел Надеждин, нет, не отберут, но как начнет земля при летних соках плодить сорняк — соседи оборут: сорняк силен в кочевничьих наскоках. Где пальцами перебрала земля, прощупана крупница за крупницей, грех, мягкую её не утоля, не посадить картофель. Сын кривится, по телефону матери веля, не порывать с российской столицей. Где выросла ботва — растёт сорняк, он может перекинуться к Сафрону. Опять прополка. Грядку, словно рак, она дерет, но снова в ту же зону заносит семя вредное сквозняк. И кто теперь ответит по закону? И так всё лето. Некому держать за трудовые руки чудо-бабу. Потом пошла ее земля рожать. Сошла черешня. Замолчали жабы. Собрав картофель, срочно приезжать просила сына, взял картофель дабы.

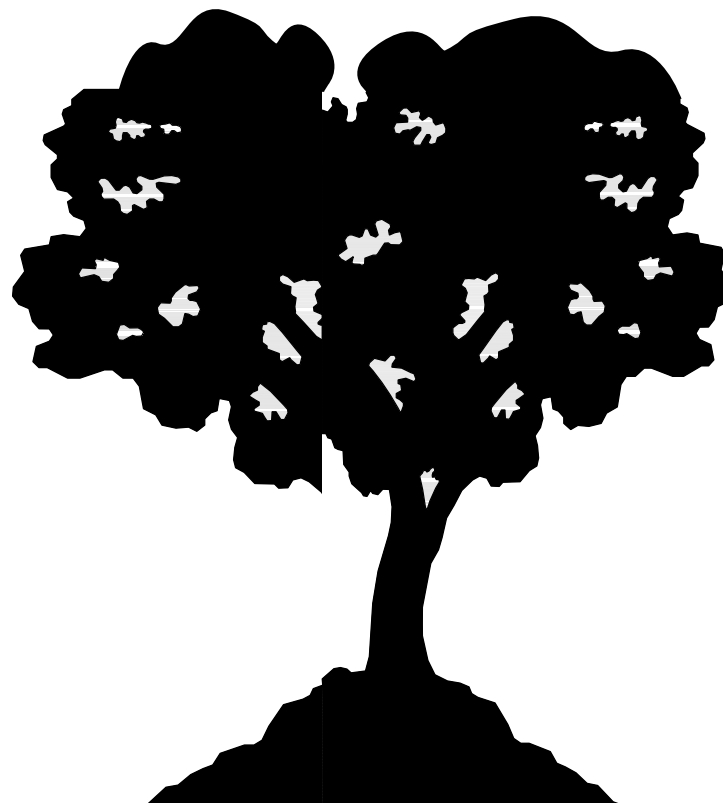
3.

Он не приехал. Он искал невест. Он запасался овощами с рынка. По вечерам был стол ей, как насест. Ее боялась каждая соринка. Стекались песни, в небе яркий крест из звезд мерцал над местом поединка.

Поскольку в Фундуклеевке колхоз был упразднен, она, открыв калитку, впустила всех желающих. Унес кто сколько мог, и гривны за подпитку она с них не спросила, но всерьёз они не полюбили московитку. Шепчась о ней на суржике своем, крутили у виска и хату взглядом обмеривали...

Помню я тот дом: когда была по пояс я оградам, меня пускали выдр глядеть, потом сидела и под вишней перед садом, и мёд пила, и кукурузный пар шел из котла, и самогон Григорьич, отец Надежды, смаковал, как дар богов. И Веру звал. Сквозила горечь в том имени. Жена, как на пожар, неслась с ведром воды, шипела «сволочь».

Ну вот и всё. Чего еще про них? Пора уже закончить мемуары. Сорняк не разрастется, сад поник, стол подгнивает, сельские базары расторгвали левый овощ вмиг. Она еще жива и мы не стары.





ТУМАН

Туман на Матрёну к оттепели

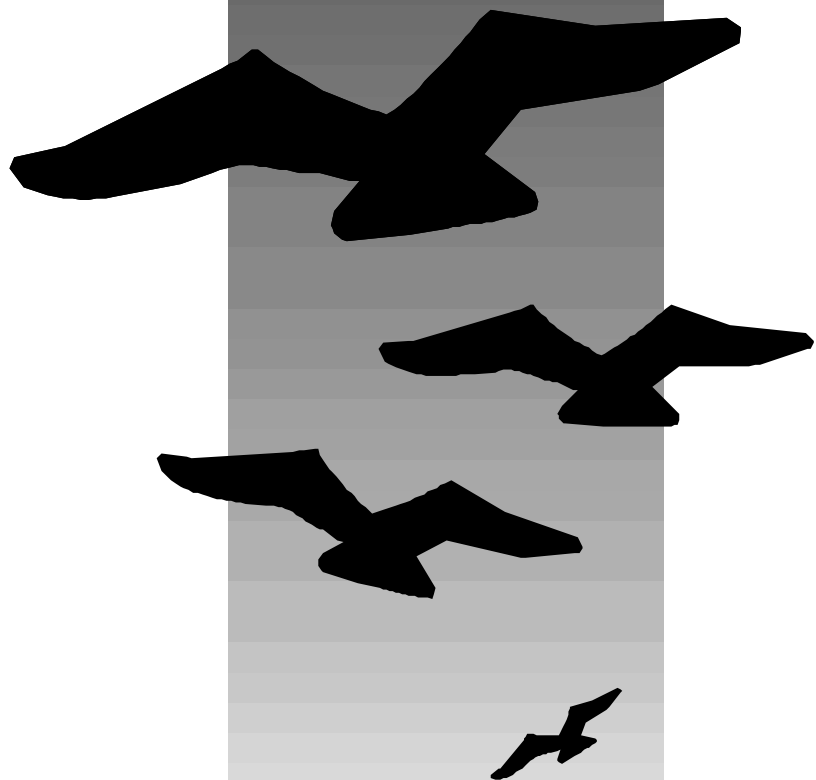
Не спать всю ночь. Не думать ни о чем. Пролистывать компьютер разморенно. Не чувствовать, как за твоим плечом уже встает туманная Матрёна.

...Знать, оттепель. Зима сошла на нет. Иди живи без страха поскользнуться. Вот ускользящий нестойкий свет ночной, которым можно захлебнуться. А вот и скоротечный свет дневной, как молодость, и вечерет рано.

...Слепая баба Мотря надо мной колдует-выколдовывает рьяно. По памяти проходит до плетня, мотает цепь и тянет из криницы рассвет. И что-то торкает меня смотреть в ее синюшные глазницы. Следить, не ошибется ли во мгле своей глубокой старости Матрена.

Ах, нам бы так запомнить на земле все рытвинки, расщелинки, схороны. Я по привычке вглядываюсь в ночь, в ее туман, светящийся жемчужно. Но, чтобы воду в ступе истолочь, и внутреннего зрения не нужно.

Кто это всё тебе наворожил?! Какая ночь бессмысленная тает! Хмарь оседает, проступает мир, но слепоты немного не хватает...



* * *

...Все на свете праздник...
С.Г.

несколько раз в году он просит меня показывая на балкон
достань деда мороза елку и сделаем новый год
иногда я достаю гирлянды светящийся шар и он
засыпает в полном блаженстве а дед мороз поет

песенки католического рождества
вот идут холода до новогодних каникул рукой подать
и нужно будет решать где брать столько провизии и какие слова
произносить на слова а папа подарит мне джип и возьмет гулять

итак он снова просит достать ему новогоднюю мишуру
не порть говорю аппетит перед ужином не разгуливайся
перед сном
не празднуй перед праздниками не умирай до смерти
ступай подобру-поздорову
с кухни оставь меня отстань от меня завтра рано встаем

он засыпает когда влага в глазах превращается в снежный сон
в разъедающие кристаллики солоноватые если поцеловать
я курю и думаю если б не он
как бы стала я жить как бы стала я умирать

РОЖДЕСТВО

для кого-то тролль для кого-то троп для кого-то трон
и не веришь вроде бы а попробуй тронь
за живое что там еще живет у тебя внутри
сам озвучишь боль боль и значит бог что ни говори

не родил дитя не узнал про мир о котором врал
даже если сам для себя по камешку собирал
ничего не видели раскуроченные глаза
с середины здесь ничего глазами понять нельзя

а когда дитя как огонь меняет свои черты
то цари небесные то рабы безвестные в нем то ты
лопаются клетки игра гормонов звон ДНК
и отец небесный и мать земная глядят в века

вот они гадают на кого похож повторит кого
вот они отслеживают первый шаг его
обретенье речи тональность плача размер ступни
и Иосиф пряча глаза смывается от родни

у кого вопросы у кого ответы у кого столбняк
господи ты видишь это дитя в яслях ну так как
присмотрись не твой ли который завтра и через год
народится и через восемь декад уйдет

он давно отвык от твоих имен от твоих десниц
у него лишь боль только тронь да этот размах ресниц
из зрачков его смотришь ты а он из зрачков твоих
и лучится мать как звезда единая на двоих

* * *

Уходила женщина волочила шлейф за собой
В Лукине лукиница перед нею Павел слепой
В Лукине лукиница за нее ходить не могли
Уходила женщина а мы с нею были враги

Уходила женщина уменьшаясь телом в разы
В Лукине лукиница поперед нее две козы
А одна белесая а другая с черным бочком
Уходила женщина сын у ней дурак дурачком

Уходила грешница да была последней в строю
В Лукине лукиница у дозора по острию
Уходила женщина прищемили шлейф золотой
Пригвоздили к кочке шпилькою шиньон завитой

У нее усмешка словно та в годах молодых
Где за каждым слежка а у нее старый жених
А впереди возлюбленных целый шлейф и все под рукой
А мать ее из ссыльных да с сибирской черной клюкой

А младенчество ее где бескормица на крови
А ее кормили по любви по любви
А ее ласкали за корма за корма
А у нее от счастья ломаются закрома

А сын ее юродивый ни на кого не похож
Уходила женщина поднимала шавка скулеж
А ее носил на руках дурак дурачок
Целовал последнее что еще осталось от ног

От груди осталось от округлых бедер ее
Уходила женщина сын теперь бобыль бобылье
В Лукине лукиница он ее туда и отнес
Ко слепому Павлу что в разлуке мохом порос

Разомкнул детина а с ладони прах полетел
От лукиницы до околицы за предел
Из ладоней как из родового гнезда
Уходила женщина больше не вернется сюда

Ах ты вот и матушка на кого
Ты оставила дурачка своего
Ах и вот и грешная не случилась родня
На кого оставила дуру душой меня
Для какого праздника для какого жнивья

Уходила женщина женщина голубка моя

* * *

Не трави мне душу прошедшим временем
Времени нет вообще
Время плавает черным семенем
В бабушкином борще

Она строгая фартук трогая
Ешь говорит расти
А я маленькая одинокая
Ложку сжала в горсти

Не хочу его это варево
Много мне а она
Над душою стоит как зарево
Ешь говорит до дна

Ешь и учись тоже будешь женщиной
Маленький мой мятеж
Подавляет лихой затрециной
Не выйдешь пока не съешь

Над борщом наклонюсь для верности
Низко и мне видны
Жировые круги поверхности
Ужасы глубины

* * *

Когда она шла с работы, было уже темно.
На Никитские все ворота она кричала в окно:
— Маша, без разговоров!..
А через пару лет
Я усмирила норов, ей варила обед,
Курицу в синем газе и со слонами чай,
Мыла посуду «Квази», плакала невзначай,
Как было страшно — спичку в газовое нутро...
Ложку заварки в ситечко на небольшое ведро...
Мама сидит — устала.
На похвалу всегда
времени не хватало вечером, ерунда.
Мама смотрела телик черно-белых кровей,
Молча сосед-бездельник дверь прикрывал плотней,
Чтобы не слышать трепа, телика и грызни...
— Спать иди, Пенелопа!
— Спи, моя радость, усни, —
Пела мне передача, пела мне вся страна,
Где засыпала, плача, и просыпалась, плача,
Оттого что любить должна
Эту, на покрывале, но какого рожна
Мне тебя недодали, дальняя ты родня?
Мама, ну, хоть в начале ты любила меня?
Кто за меня мне выбрал эту мою левшу
В этом болоте гиблом, в этом параде сиплом?
Дай-ка, я попрошу
Мне заменить на светлый ангельский чистый лик...
В теплый мой стан оседлый свой кочевой ярлык
Пусть мне доставят лично, я позабуду, как
Долго и драматично мама, мой личный враг,
Злобу в меня вбивала, шкурила душу мне,
Чтобы к концу квартала, жизнь разлюбив вполне,
Ночью торчать на пятом, высунувшись к трубе,
В классе восьмом-девятом: вот тебе, вот тебе.
Но не с того, что силы нет опрокинуться,
Всё-таки жить в России, дальше не рыпаться,
А оттого, что в спальней, в койке своей хрустальной
Спит ни дитя, ни жена — никому не нужна.

* * *

А. Стесину

помнишь пахло опаленной травой за футбольным полем.
территория пионерского лагеря на другой стороне шоссе
продырявлена сетка рабитца завхоз в запое
через дырку вылезли и на воле все

вот дежурный отряд на воротах постп как у гроба господня
обмирает сердце родительский день сегодня

мамки с сумками через сетку рабитца выкликают чад
с поля не разглядеть прибывающих и запахи здесь горчат

помнишь игру такую прислонись к сосне и глаза закрой
другой нажимает двумя руками в солнечной сплетенье
и ты падаешь они ловят тебя и кладут под сосной
головокруженье...головокруженье...
вдруг она... кто-нибудь... приехала вдруг за мной...
вдруг меня уже ищут... всё-таки воскресенье...

все-таки не сирота...хоть и взята взаймы.
в глубине травы слепоту переживая задохнешься пуше
помнишь так вот и становились мы
одинокими и всемогущими

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Палата женская. Грибок на потолке.
Старуху привезли из хирургии.
Старуха спит с катетером в руке,
И спят, еще не полые, другие.

Больница городская «МедСанТруд»,
На Язузу глядит центральный корпус,
Где правду-матку режут, водку пьют,
И я еще над снимками не корчусь.

Апрель — насмешка, Благовест — фантом.
Мне двадцать лет. Меня приговорили
Быть пустоцветом в мире золотом,
Бесплодным телом ласковой Марии.

Перед обходом нянька шуровать
Начнет насквозь хлорированной тряпкой.
Пойдет стонать десятая кровать.
— Наркоз отходит, посидите с бабкой, -

Не разгибаясь, нянька пробурчит.
Менять белье. Носить супы и пшенку.
Учить ходить. На воле, что горчит,
Не подойти ни к одному ребенку.

Спустя пятнадцать лет зачать мальчика.
Носиться с ним, как с писаною торбой.
Когда бы жизнь рассматривать с конца,
В ней постепенно всё предстанет нормой.

2.

Был зимний лагерь. Шубка по плечу,
Но трижды перекроенная. Сроду
Не знала спеси. И теперь молчу.
А в сосняке тогда решила с ходу:
Я не хочу растаять, не хочу,
Как горстка снега, брошенная в воду.

Темнело капитально к четырем.
В снегу по пояс детская площадка.
Вожатая с вожатым — вот синдром
Любви к чужой любви. Плыла лошадка
На каруселях снежных. Мы умрем,
Но чем бы откупиться от распадка

И длится долго? Эти десять дней
Казались веком сладким и тяжелым.
Прошла она, и он прошел за ней.
И снежный скрип за корпусом веселым
Был невеселым. Господу видней,
Кого учить вот так, кого по школам.

Просматривался сквозь фонарный свет
Хмельной физрук, идущий по аллее,
Столовки куб, линейка, силуэт
Гайдара в гипсе. Звезды, тяжелея,
Срывались с неба, но чернел их след,
И становился замысел светлее

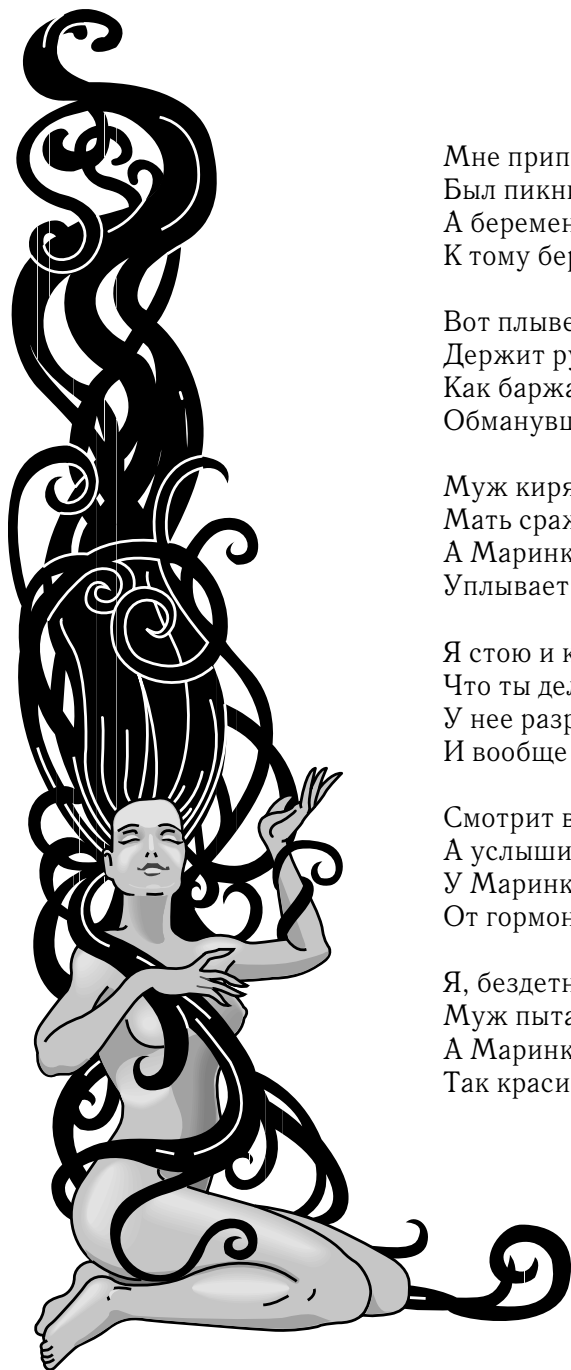
И слаще одиночество! Тайком
Присутствовать вот так при каждой сцене,
Глядеть на мир мгновенный, снежный ком
Забывших жизней! Вырвать их из тени!
... Она потом сойдется с физруком
И выйдет замуж к третьей летней смене.

3.

Литература чистая! Молясь,
Ну, скажем, Богу: только бы не насморк, —
Назавтра дышишь ртом, и если завтрак,
Озон и корм глотаешь через раз.
А нос вообще отсутствует у вас,
У рыб, и про акул — серьезный автор.

Бог есть. Но глубоко зарыт. Труба
От перископа, стеклышком сверкая,
Торчит смотреть, как рыбина-судьба,
Вертява, но безрука и ряба,
Раскроет рот и... Как же ты слаба,
Волна моя сверхультразвуковая!

А надоест ему смотреть в глазок,
Он вышвырнет тебя в кусты Тайваня
И Дрезден наводнит тобой. Такая
Литература. Ну, еще разок
Спроси его про насморк, о песок
Стуча хвостом и кровью истекая.



* * *

Мне припомнилась тут картинка.
Был пикник на краю села.
А беременная Маринка
К тому берегу поплыла.

Вот плывет она кверху пузом,
Держит руки за головой,
Как баржа с контрабандным грузом,
Обманувшая наш конвой.

Муж кряет ни сном ни духом,
Мать сражается с комарней,
А Маринка с огромным брюхом
Уплывает на берег свой,

Я стою и кричать не в силе,
Что ты делаешь, мол, вернись.
У нее разряд в вольном стиле,
И вообще она смотрит ввысь.

Смотрит ввысь, ничего не слыша,
А услышит, прибавит ход:
У Маринки снесло всю крышу
От гормонов, она и прет.

Я, бездетная, злюсь на кочке,
Муж пытается в воду лезть.
А Маринка плывет и точка.
Так красиво, глаз не отвести.

* * *

«...Вот опять меня начинает тошнить и качать».

Линор Горалик

«Если забыл, — она говорит, — напомним:
сейчас росла бы и дочка».
Он не верит, потому что забыл, как верить,
и от памяти ни кусочка.
Из беспамятного неверья выстроилась цепочка.

...Она на цепочке в скверике у гаражей, говорит «задержка».
Он — в кошелек. Роняет монету. Орел или решка?
Сын у них уже есть, прощай, «белоснежка».

А сыну-младенцу она потакает во всякой блажи,
И рожала бы, и рожала бы еще розовой и глаже.
Но пошла, такого же извела. Про него отец и не помнит даже.

ТАРИФ*

*«Если это предприятие и дело от человеков,
то оно разрушится, а если от Бога,
то вы не можете разрушить его...»
(Деян. 5, 34, 38 и 39).*

Л. и Б. Херсонским

Мать ведет ребятенка домой, за руку тянет.
Сейчас, говорит, грянет.

Редкие меткие капли капаят на карниз.
Слова распространяются на всю его жизнь.

Сидит и ждет, перебирая машинки,
Переставляя слова, подбирая первые рифмы.
Не было ли ошибки,
Когда выбирали тариф мы?

См. эпиграф: все сказано Гамалиилом.
Вообще внимательно относись
К мраморным доскам и пустым могилам,
Пока не провисла высь.

Предошущение, предвкушение, пред-
смертная судорога, суета у ворот егоровых —

Не выдержишь ожидания бед,
Вскрикнешь: где уже твои гнев и норы!

Написал бы ты каждому сосунку на лбу:
Этот — поэт, тот — фарисей, тот — церковь.
А то шествуем всем стадом — по тонкому льду,
А персональный тариф — с наценкой.

Савл сидит на ступеньках, затылок его напряжен.
Когда я был маленьким, — говорит Гамалиил за спиной у Савла, —
Я тоже хотел ходить на работу в синедрион,
И умру фарисеем, но ни в чем не уверен уже, да и рука ослабла.

И бла-бла-бла. А мальчик наматывает на ус,
Мальчик пробует на вкус кровь да мяско!
Пока Иисус
Не грянет в черте Дамаска.

Савл сидит на ступеньках, затылок его седой,
Когда я был маленький, — говорит, — и зрячий,
Я тоже не знал, как жить. Над его головой
Гром гремит, приближая поток горячий.

*ТАРИФ, тарифа, м. (фр. tarif с араб.). Ставка или совокупность
ставок обложения или оплаты чего-н., сборов с чего-н.*

* * *

старый снимок: ты курносый,
юный батя с папирсой,
мать худышка — смытый мир.
сколь дороженьке не виться,
сколь картошке не вариться,
это шкура, не мундир.

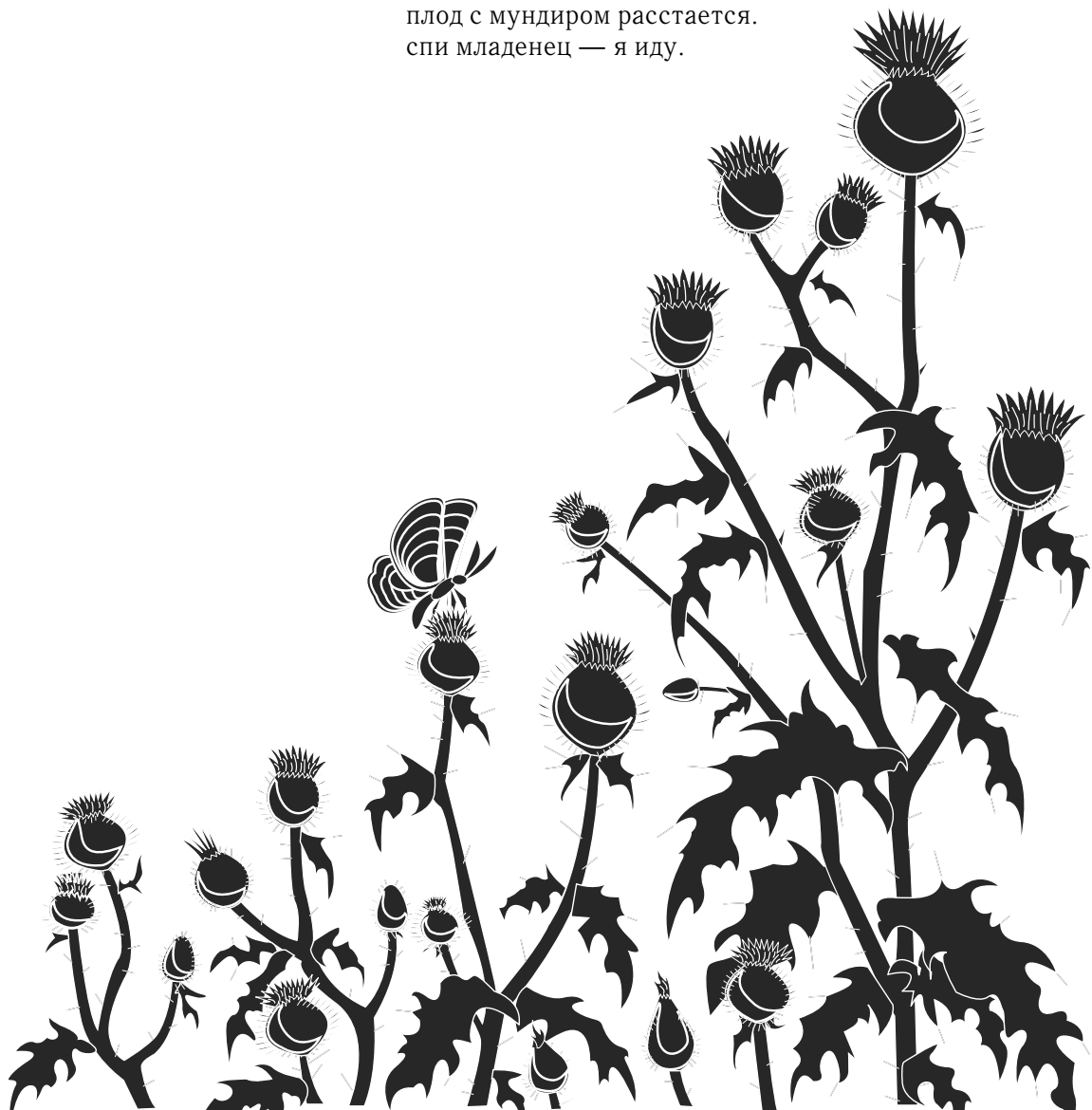
ты такая же / такой же
с чем пришел, ни сумкой больше,
ни копейкой не прирос,
ни извилинкой какою
и относишься к покою,
как к молчанию вопрос.

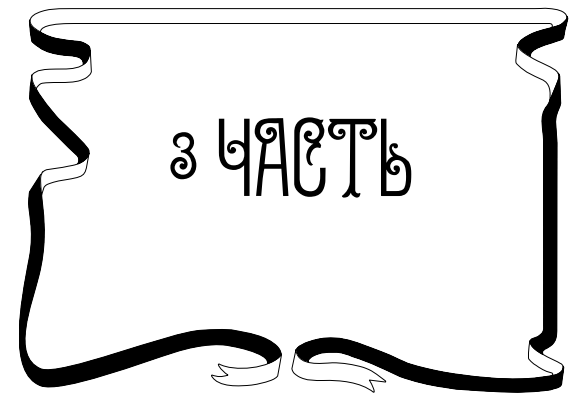
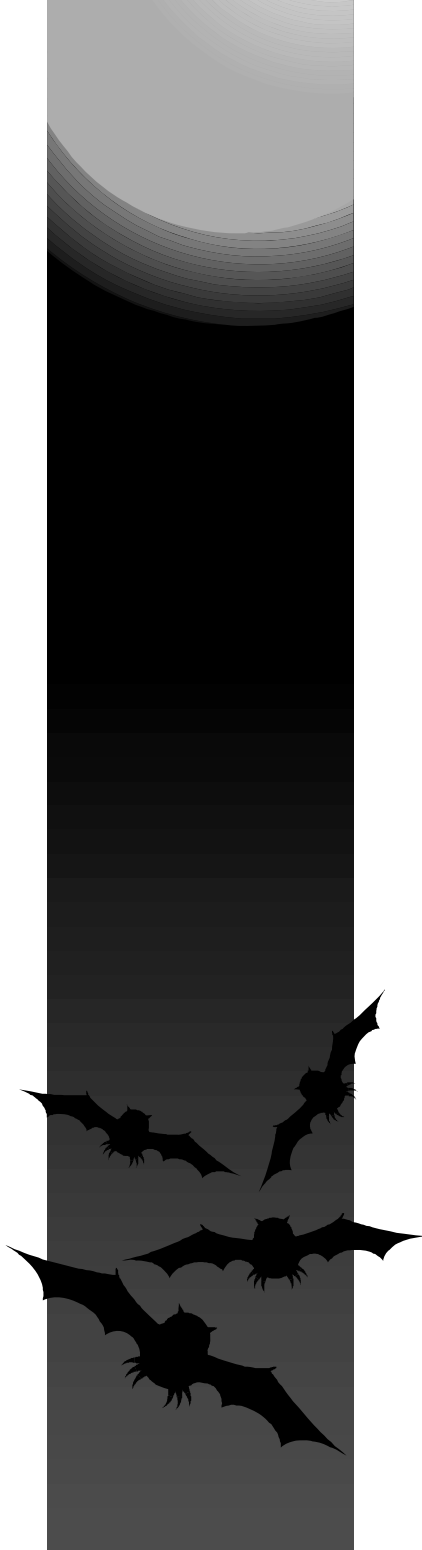
не спросили б, кабы знали,
что ответят нам в реале,
что заставят пережить!
но и здесь ты тот же крошка,
если приласкать немножко
иль к груди не приложить.

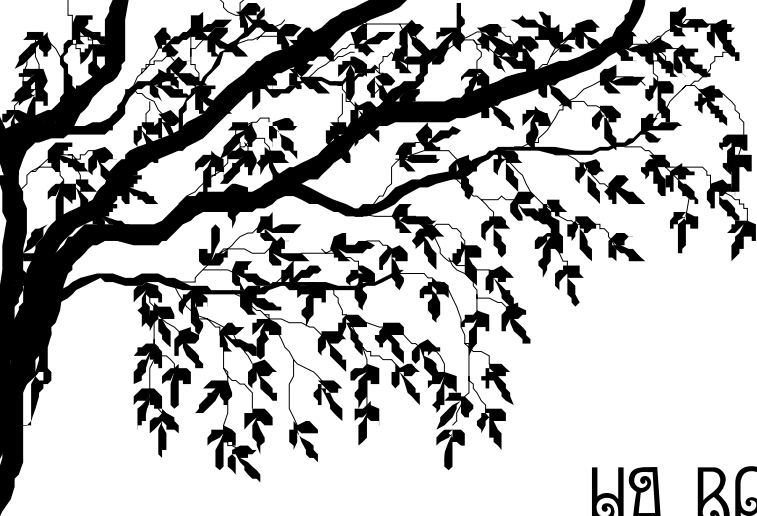
вот лежишь, крича и тужась,
те же сны вселяют ужас,
та же мертвая петля.
опустел твой угол зренья,
только травки и коренья,
неба нет, кругом земля.

страшно. колики. отрыжка.
выпьем с горя, где пустышка,
сигаретный вьется дым.
вот таким же вот макарон
и отец курил, недаром
он не умер молодым.

умер — просто не дозволялся
никого, не удержался
за рыбацкую уду.
все на месте остается,
плод с мундиром расстается.
спи младенец — я иду.







ПИСЬМА НА ВОЛЬНОМУ ТЕМУ

*«В полдень в пятницу 20 июля 1714 года
рухнул самый красивый
мост в Перу и сбросил в пропасть
пятерых путников».
Т. Уайлдер «Мост короля Людовика Святого»*

Определяя круг своих работ по обустройству дачи, ставь под катом гармонию Вселенной. Полон рот иных забот у донов, донья, как там вас называли в Средние века, в срединном вашем возрасте? Не это чужими правит мыслями, пока ПК находит узел интернета. Лежит сосед под дверью — не открыть, соплвится дитя круглогодично, и матери ничьей не сохранить, особенно, принадлежащей лично тебе. Идеалисты не в чести, хоть и в печенках честь материалистов. Иди и лучше грядку прошерсти на тему сорняков, их вид неистов. Вдруг в этой глухомани клад зарыт? Вдруг ёжик спит, а ты считала кактус и поливала дважды в день, навзрыд себя жалея. Вот что, донья, как вас там: вы ужасно счастливы! Где мозг в пробелах на рентгеновских пластинах, там побежден обыденности монстр и сочен перчик в дачных палестинах.

Вечерние стрекозы и жуки подслеповаты в свете дачных комнат. А письма — как «Деяния» Луки — уже литература, а не коммент.

1.

Начать хотя бы с этого письма.

Когда впервые я сошла с ума на следующий уровень воронки, еще стояли вечные дома, но пали институты оборонки. И я сдалась племяннику царя с большой охотой, честно говоря.

Но вот о чем я думаю, не часто, а так, чтоб не забыть, что я была: была ли я, раз я была несчастна? И если «да», чего ж не родила?

И те размыты в памяти свиданья, и скоро лица вовсе отомрут, и лишь красавчик комиссар Катанья один из всех, кого зафрендил спрут.

Но слушайте, когда в том месте, там, где должна быть я, прозрачно и светло, кто так любил, скажите бога ради?!

... У нас спустилось солнце за село. Иду курить. А этот лист тетради, считайте, белым снегом замело.

2.

К собранью досточтимому вопрос, который к сорока во мне пророс. Вот, скажем, все мы грешники, не спорьте, нас заливали лавой и водой, но все мы оставались в этом спорте и понимали с новой бедой, что есть предел космической аорте.

Диалектичен отче молодой, но алогичен в старости, похоже. Когда бы я была не я, а — он, за сонмище грехов одно и то же установила б я один закон, а этот нам младенца на рогоже представил для продления времен. Тождественен ли грозной он Помпее, подобен Арарату во снегах? Он должен быть распят — и мы пропели, он должен нас спасти — и мы в ногах, но где же наказание, в самом деле, на этих беспредельных берегах?

Нам, должникам, ссудили суммуснова, но, уплатив первоначальный долг, по-прежнему должны. И до второго пришествия теперь не взяты нам в толк: любовь ли то — когда она сурова?

...Уж полночь. Пошел второй виток.

3.

Веранда холодеет. У чернил нет больше сил, и я меняю стержень. Уснули все: и кто меня родил, и я кого. Из острова на стрежень выходит ночь и поднимает ил. Спит даже тот, кто на меня рассержен. О, я чиста, я правду говорю. Подслушай у околицы, которой в помине нет, а хочешь, к сентябрю я распрощаюсь с правильной конторой, уйду в декрет и сына подарю?

Да, вот он — спит, закинув руки ввысь. Смотри, как спят безгрешные в купелях, отдай его на крест и застрелись вон в тех в единый морок слитых елях. Что плоть его в мучениях надясь могла переменить в твоих землях?

...Пройдут три дачных дня, и я сбегу, меня не будет, не было, не знаю, как объяснить... Я перед ним в долгу, не долюбив, хотя была святая, но мякла в леонардовом кругу, круги своих работ определяя.

4.

Сосновый жар протопленной хибары... Сын, отошедший в возраст неродной... Тень черная за деревом, кошмары ночные, управляющие мной. Курить ночами жутко на крылечке в беспограничной этой полосе, где на деревьях раны, как насечки, чтоб не плутать, но заблудились все. Горланят, но никто не вышел в люди. И три сосны в Саврасовке моей — тот лабиринт, где зверь — в стеклопосуде, а пункт ее приема — апогей тупого героизма. В лабиринте саврасовском, где смысла не найти, никто ничем не жертвует, и нити не даст, и не сумеешь сам сплести.

Насечки видят, как понять — не знают.

Побрызгивает дождик в тишине. За деревом другое проступает и подступает медленно ко мне. Ну, что? И ты несешь благое слово? Сулишь века, а мига не даешь! Всё в паутине здесь, всё бестолково. А в остальном — и этот лес хорош.

5.

Бог в помощь... это... Помню, что была еще наемни память в частном мозге. Пишите письма, донья, даль светла, но мы там были: вот они обноски.

По назначенью тратить зеркала равно, что выйти голой на подмостки — от тела не убудет, зритель слеп, но сверхлимитный холод не оправдан.

Второй из странствий привозил мне креп, дышал медикаментами на ладан, но тоже был властителем судеб и чем-то заводил, как будто задан урок и получается легко. Но у завода кончилась пружина. Он был не бог, но бел, как молоко, и у него болела сердцевина. Чужбина прибрала его, чужбина. Он хохолком кивнул мне: ко-ко-ко.

...Был сизый день московского двора, всё пахло мочевиной и арбузом. Соседка выпускала школяра, а он вошел в костюмчике кургузом, и тикала внутри него дыра, и черный рот пыхтел Экибастузом.

Но разве он не видел: ни одной меня уже не стало, я исчезла, прикрыв все ипостаси озорной улыбкою про старческие чресла. А он еще кому-то «будь женой» сказал и пересел в другое кресло.

6.

От лета прибыли (когда берут ребенка) — на полкопейки: ночи, а не дни. Дворы пусты, не вспылена щепенка, и рано гаснут звезды и огни иные по периметру квартала.

Крест материнства — глядя в небеса, ждать часа, чтобы всё начать сначала, как будто в жизни двадцать три часа, и час на смерть, и делай с ней, что хочешь. Она легко рифмуется, когда бывает существительным, проскочишь такую, словно рыбку из пруда, без опасений сирот приумножить. Страшней к младенцу спящему вставать, когда не слышишь сна его. Быть может, я многократно умершая мать. О, вечное сиротство неизменно в любом из нас, пугавших матерей молчанием младенческим, что дивно спасало б в Иудее от царей.

Над непроглядной этой панорамой, когда мне ночи вольности даны, я вижу всё, что ждет его, до самой последней бесконечной тишины; по чьим стопам он после первой юшки пойдет в необозримое, а нам стирать белье и собирать игрушки, разбросанные вечно по углам.

7.

На севере светлее ночь, хотя б и север этот в двух шагах от Лимы. Был третий хоть и беден, но сатрап, но что сатрапы нам, когда любимы с такою болью мы! Рассудок слаб пред жалостью, чьи семена озимы.

Казни теперь колдунью на огне на каменной площадке у собора: меня любил мертвец! И было мне начертано спасти его от мора и ужаса. Он вешал на стене портреты — от царя до щелкопера, и женщин, что боязни не снесли. Горел фонарь, скрипели в дом ступени. И тени их оплывшие могли свести с ума. Черны мои колени, но там необитаемы углы, где плоть — растопка в огненной геенне.

8.

Пора бы сделать отступление, но не гаснет день, и грядки не темнеют. В соседнем доме бесится кино, и женщины вечерние умнеют и вспоминают: всё предreshено.

Желаешь жить — найди его врага. Элементарно, господа, врата его напротив, перейди дорогу и чалься, не жалея живота, и забывая

о мертвых понемногу.

Он будет крест снимать, ложась в постель.

Он будет так сжимать, что треснет ель и пополам расколется над домом, и газовой колонки карусель сама собой взорвется с тихим стоном. И станет безразлично: любит он тебя или насилует соседа посредством жен, и сам он поражен в правах, ведь ты уедешь до обеда — от станции до города сажён пятнадцать, но как Лима и Толедо, наш мир на картах врозь изображен, хоть на одном наречии беседа.

9.

Растенья расправляются в ночи, потрескивает что-то в них, как в печке. Курить противно в темени, лечи свою прореху в темени, овечка, и станет страх привычней, чем врачи, да где их взять на вымытом крылечке.

Друзья мои, а здесь не видно звезд, как было бы в любом другом поместье. А это — на отшибе — как блокпост. Овраг непроходим, туда не лезьте. Здесь, говорят, когда-то рухнул мост и в зарослях лежит, как рана в шерсти. Отрезаны пути на материк. Меня печалит, что забыла грядки полить в трех огородах, там поник весь урожай, и мышь грызет тетрадки. Здесь шепчутся, что слышали мой крик тогда из-под завалов. Этот миг совсем не помню после пересадки в иную почву.

Кто сей мост воздвиг? Куда он вел от нашего двора? Кто приезжал сюда на колеснице? Приснится же такое! Будь добра не снись мне, жизнь! Уже не прояснится, была ли я? Что делала вчера? Игра? Но что ж так ноет в пояснице?

10.

Ты не поверишь, я произносить не в силах это с самого начала — «я родила». Мне кажется, что нить я упустила, я зачать зачала, но создает нас тот, кого винить бессмысленно, и детям не пристало.

А если в этом вареве людском моя лишь плоть сражалась с алым сонмом врачей и акушерок в городском прокатном стане, в цехе перегонном, то чьи черты небесные тайком угадываю я в ребенке сонном?

11.

Насборь на пальцы кашку: петушок, цыпленок или курочка, — в охотку играли в травы. А на посошок сыграем в маргаритку и бархотку: какой длиннее снизу корешок. Я там была, я совершала ходку. Я

видела с изнанки чернозем. Там холод отпускают без лимита.

Был пятый не распятый, но при нем судили тех, кем вечность знаменита, короче, был наместником, в свой дом пускавшим и попа, и вахабита. Застолья не любил, держал бока в умеренных размерах, а коль скоро подмахивал странички приговора, то казни наблюдал издалека, из ниши, как кино через тапера, через легионерские войска.

И этого любила я за спуд решений, что даются черной кровью. Когда б не я, он не имел бы пут и учинил опричнину бы тут, к седлу приделав голову воловью.

Любовь — она страшней, чем страшный суд, когда тебе наследника несут.

И что ты будешь делать первым делом — смотреть в какого бога вышел телом.

...Потом он редко пользовал меня, давно вдовец, но так любивший пресно, что сын у нас, скорее, от огня, сошедшего с небес. Что интересно, когда, отца от сына отчленив, бежала я — меж нами стала бездна.

12.

Мы не развратны — это жизнь длинна. Для одного — жильё великовато. Случается, лишь святостью грешна блудница и не ведает разврата, но пустотой пугает место свято.

Обставить дом и рамблер завести, отмыть хрусталь и кухонную утварь. Пишите письма, а часамкшестьответ случится, двойственный, как угорь. В сети — святой, а ожидался ухарь. Мы обоюдно строги к матерям и обоюдоостро одиноки не потому, что всяк из нас терял, а потому, что хватит с нас мороки, но я всегда послушный материал, когда через меня проводят токи.

На что сдались мы самкам и самцам, покуда мы в беспамятстве, а память отбили нам, как тиграм по резцам. Теперь при чистке проступает камедь. Весь дрессировщик съеден к праотцам, и публику бы надо остограммить.

... А зверь млекопитающий к сосцам и битый подползет, чтоб вкус заспамить.

13.

Приходят озаренья в мертвый круг галактики. Покуда гром не грянет, спит память в окруженье ленных слуг, как Навуходносор, сны таранит, но тщетно. Снова снится синий звук распада. Вот

качнулся виадук под ношею, которая не тянет.

Проснешься — над тобой стоит дитя, зовет на поле, планы строит на день. Без материальных ведер, но, кряхтя, идет соседка, говорит, что найден в осоке мост разрушенный, хотя кирпич хорош, но смысл моста невнятен. Разобран за ночь местными до крошки. Весной, — добавит, — поле подожгли, как будто без отстрела и дележки земли не хватит, чтобы все легли. Нет, всё ж умнее кошки. Правда, кошки?

... А в поле пышным цветом зацвели совсем другие травы, пахнет сладко, синее то ли небо, то ли лён. Ах, донья, от последнего припадка такие плюсы, словно этот сон закончился, как родовая схватка, благополучно, то есть разрешён от бремени. Но лучше на рожон не лезть, пока не сократилась матка.

14.

Под вечер птицы вымерли в лесу. Курлычет лишь лягушка под жасмином. Последний рейс проводит полосу по небу, приращенному к осинам, и сбрасывает топливо в росу.

Так я живу на острове моём. Вручную изучаю чернозем. Пугаюсь инородного движенья в тех окнах, что выходят на излом в земной коре — там больше притяженье. В уме перебираю времена, к ним имена себе я подбираю. Иначе не понять, кому должна за пропуск в человеческую стаю. А то, что память дрябла и темна, здесь всё тускнеет, как я понимаю.

Сведут с ума подшитые в трактат свидетельства, нещадна процедура, и если ты — доказан, то не факт, что за холмом для фона есть натура, а если и ведет куда-то тракт, то почему он пуст и небо хмуро.

Ах, донья, донья, это я к тому, что человек похож на центрифугу: в нем столько судеб вертится по кругу, а в центре пусто. Вот и не пойму, куда пойти и оплатить услугу.

«Даже память не обязательна для любви.

Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение»

Т. Уайлдер «Мост короля Людовика Святого»

7-11 июля 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЧАСТЬ

«Всем! Всем! Всем!...»
Он вызвал меня повидаться
Два зеркала
Кино
Мне снилось, что папа не умер
Он был почти что волк
Он начал первым разговор
Вот человек плывет через Оку
Туман
Тётя Надя

2 ЧАСТЬ

«Несколько раз в году он просит меня показывая на балкон...»
Рождество
«Не трави мне душу прошедшим временем...»
«Уходила женщина волочила шлейф за собой...»
«Когда она шла с работы, было уже темно...»
«Помнишь пахло опаленной травой за футбольным полем...»
Три стихотворения
«Мне припомнилась тут картинка...»

«Если забыл, — она говорит, — напомним: сейчас росла бы и дочка...»
Тариф
«Старый снимок: ты курносый...»

3 ЧАСТЬ

Письма на вольную тему



МАРИЯ ОЛЕГОВНА ВАТУТИНА

Год рождения 1968.
Место рождения Москва.
Окончила Московский
юридический институт,
Литературный институт
им. Горького, факультет «Поэзия»,
семинар Игоря Волгина (2000).
Член Союза писателей России
с 1997 года. Главный редактор
адвокатского издания. Первые
публикации в журналах «Молодая
гвардия» 1995 год и «Русское эхо»,
1997 год.

<http://magazines.russ.ru/authors/v/vatutina/>
<http://vatutina-mary.livejournal.com/>
[http://zimina.livejournal.com/
mvatutina@rambler.ru](http://zimina.livejournal.com/mvatutina@rambler.ru)

